



МУЗЫКА ПАМЯТИ

Что же, значит, опять — сквозь мглу, многолетнюю, многослойную, многозначную, — так уж вышло, — ту, что там, позади, в былом.

В ушедшем ли? Да, пожалуй. Наверное. Но, скорее, отошедшем — на шаг, всего лишь, или, может, на полшага, словно вглубь, или вдаль, или ввысь, да ещё и немного в сторону, — и движение своё замедлившем, понимания ожидая.

Нет, никуда, похоже, сроду и не отходившем. Просто — незримо присутствующем, — рядом, всегда, навсегда. Сросшемся, исстари, накрепко, — не оторвать, — с людьми.

Находящемся: за плечами, за словами, за строчками этими, возникающими нежданно, в сознании, в памяти, в мире.

Властно определяющем оттуда, издалека, из клубящейся, мглистой, тягостной, притягательной глубины, из мучительного, рачительного, несмотря ни на что, разъятия, — нечто важное, нужное, нынешнее, кровное. Может быть — главное.

Да, насущное. Давшее зрение. Определившее голос.

Оттуда — это извечное, дерзновенное, детское рвение и невиданное упорство чутко вздрогнувшей компасной стрелки: держать, вопреки обстоятельствам самым сложным, точно на север, — а дальше уж оглядишься, отдышишься, выберешь путь.

Оттуда — этот светящийся, чистый и точный звук запорошённого сыплющимся с высей сквозь век снежком, вымокше-

го в сплошных, несть им числа, дождях, но ржавью коварной в ненастье не тронутого камертона.

Выверенность единственно возможного — вот он — тона. Без язвы или занозой случайной ноющей трещины в упрямой и честной ноте, без налёта липучего фальши, без вкрадчивого, втихаря, вдруг никто не заметит, авось и сойдёт, ничего, всё бывает, подлаживанья под чужую, пастушью ли, идиллическую, Крысоловью ли, демоническую, далеко уводящую дудку. Явственного. Того, что сам по себе. И в бедах, и в радостях, пусть и нечастых, да зато настоящих. Чистого. И, заметим сразу, оправданного.

Поэтому — смело — туда, через морок стольких уж лет, — на свет ли, к теплу ли тянучись, — вот и вехи, ориентиры, приемы, штрихи, пунктиры, — всё это само собой собирается в сгусток живой, — на биение сердца, на голос.

Да, читатель, отыщем по голосу.

Там, будто бы на пороге, на кромке, на грани, у входа — в настоящее ли, в грядущее ли, — в преддверии и в предчувствии решающего чего-то, кровно важного, в ожидании некоем, перед тем, что неминуемо сбудется, отменяя сомнения, дальше, высвечивается — лицо.

Разумеется, сразу — глаза. Говорящие больше, чем губы.

Что в глазах этих? — боль? — или страх? Или — свет? Или — вера в призвание?

Всё в глазах этих — всё, воедино, вместе, сразу, в единстве таком, что его разорвать невозможно, расчленишь, изуверски разрушить, — всё в глазах этих, — в них посмотри — в них увидишь и душу живую, и минувшее время, — лишь в них разглядишь ты в ненастную пору тот огонь, что в пути согревал, что спасал, не давая погибнуть в лабиринтах всеобщего бреда, что однажды навек озарил то, что творчеством люди называли, хоть назвать это надо бы — чудом, или — миром, где радость жива бытия, — пусть и жили в печали, пусть в юдоли брели по земле, — всё равно в небесах неизбежных поднималась над каждым звезда.

Лоб упрямого, словно обиженного, чем-то иль кем-то, и крепко призадумавшегося ребёнка, в обрамлении то ли тёмных, то ли светлых, во всяком случае — ещё не начавших вдруг

сесть, не седых, но туманных каких-то, вроде бы мглистых, а может, и просто волнистых, а может быть, и прямых, — не разобрать, каких, да и не надо вовсе разбираться в этом кому-то, всё равно, кому и когда, главное — что густых, важно ведь — что ещё не редящихся, то закинутых по-птичьи, наискось, набок, то откинутых, резким, дерзким, но и детским, наивным движением, вверх, куда-то к затылку и к небу в облаках и звёздах, назад, тоже упрямым и даже непокорным, густых волос.

Вроде бы так и есть, одна из первых — тогда, и вскорости традиционно устойчивая, привычная в нашем кругу борода, — но, может, и нет её вовсе, бороды этой, и она лишь воображается кем-то, подразумевается, только намеревается — быть, и глядишь — непременно будет, потому что она — вроде знака, вроде пароля, что ли, — с нею проще, с нею спокойнее в мире холода и тоски, с нею, братцы, куда надёжнее жить в советском псевдораю, потому что она — подобье постоянной защиты от вьюг, от невысказанных завихрений — жизненных ли, огорчительных, связанных ли с судьбою, вынужденных ли, сознательных ли, — кто его разберёт, кто там определит, и надо ли это делать, если — мороз по коже, и отовсюду, куда ни шагнёшь, озираясь, — дует, сквозняком, ветерком заунывным, беспричинным, кручинным, досадным, — нет, ледяною стужей, гиблой, бездонной мглой, — и закружит, забросит в дебри, а что за дебри — сам всё узнаешь, сам всё расхлебашь, благо будешь незнамо где, — или в пустыню, в прорву, в глушь, — и поди попробуй вырваться из неволи, выбраться поскорее из ниоткуда — к людям, к свету, с которым — легче, — так почему же надо маяться отрешённо, мыкаться без приюта где-нибудь на рассвете или в потёмках, снова чувствуя безысходность существования, — зная: как ни крути, придётся преодолеть и эту вынужденную преграду, — трогая вдруг ладонью выросшую щетину, кутая горло шарфом, взгляд безутешный пряча, — может быть, от прохожих, призрачно-зыбких, редких, может быть — от бесчашья, может быть — от ментов, — мало ли что стрясётся? — лучше уж — с бородой, словно в броне и в шлеме, — впрочем, поди гадай, кто это там, каков он, — с бритыми ли щеками, с выросшей ли нежданно свежее бородой, — наш или нет? — сощурься, взглядываясь, — меж тем образ его

двоится, десятерится, множась, — и потому неважно, что у него за вид, — мне-то куда важнее, что у него в душе, чем он, бездомный, дышит, чем он, мятежный, жив.

Глуховато-гулкая речь, о, сама эта характерная, достоверная, беспримерная, убедительная манера говорить — изначально сдержанная, но, со шлейфом каких-то импульсов электрических, интонаций и вибраций, спиралью вьющихся вслед за нею, определённая, словно разом, без обиняков, подводящая смело черту под усвоенным и осознанным, — так дети порой говорят, что-то осмыслив, поняв, преобразив и оставив отчасти, поскольку так уж выходит у них, трансформированным, творчески, непременно, и никак не иначе, дополненным, в просторной, как ясный полдень, памяти дивной своей, — имея мнение собственное о предмете и право имея на суждение, личное, собственное, — поняв, но всё-таки тут же, незамедлительно, сразу же, давая каждому слову, своему, разумеется, новую, совсем другую, особенную, волшебную, щедрую жизнь, даря миру всему эту светлую, свежерождённую, живую, живее некуда, трепещущую частицу вселенского бытия.

Но прислушайся чутче — быть может, эта речь — иная, допустим — неожиданно звонкая, льющаяся на высоких, почти поднебесных, отдающихся эхом раскатистым в отдаленье заречном, тонах, или — сбивчивая, даже путаная, торопливая, забегающая то и дело вперёд, и поди-ка поспевай за нею, всё рвущейся сквозь пространство, на волю, или же — излишне, бывает и так, ничего не попишешь, замедленная, или ещё какая, — да не всё ли равно? — и звучит, вернее, звучала она — там, в былом, и многоголосьем неустанным всегда отдавала, потому что была в своё время — речью круга, плеяды, среды, и была в ней — полифония, и каждый отдельный голос вёл свою, а не чью-нибудь, тему, выпевал, неизменно, свою, а не чью-то чужую, мелодию, — и всё это вместе, в единстве, в гармонии, сложной, всеобщей, и всеми по-своему чуемой, выражаемой, кто как умеет, было бы что ощутить, и, по возможности, выразить, — было музыкой, речью эпохи, гулом, слаженным и разлаженным, слитным или же, в силу многих, грустноватых причин, раздробленным, но тяготеющим к ладу, ищущим и находящим в каждом отдельном случае

звук свой, а с ним и верный тон, а потом и слово, чтобы возникла — речь.

В клубах и волокнах слоистого, тягучего, поглощающего звуки и тени, тумана, в выплесках тусклого, словно теснимого кем-то невидимым в сторону, на обочину, но упорного, стойкого света, брызжущего сквозь темень, брызжущего сквозь ливень, страждущего, но всё же реющего сквозь снег, — вроде бы, поглядим-ка повнимательнее, высокая, ежели не сказать, по привычке давнишней, — длинная, неузнанная фигура идущего человека.

Но, может, и коренастая, приземистая фигура, плотная, крепко сбитая, — всё это словно не в фокусе, оптику не подбирать, чтобы понять — какая, главное — что не тень.

Кто он, идущий молча, — там, в отдаленье? Друг? Просто — знакомый? Недруг? Лучше бы — друг... Считал я всех вас тогда друзьями, — всех, кого знал, — вас много было... А этот — кто?

Поджар, сухощав, жилист. Не от райской жизни, наверное. Не от сытных, пожалуй, хлебов. Та самая жилистость в нём, двужильность в нём безусловная, что всегда почему-то выводит, хотя и с большой охотой вытягивать эти жилы находятся мастаки.

Вроде сутуловат. Но нет, это так, в меру. Ложилось ведь что-то на эти плечи, пытались пригнуть голову эту, крепко посаженную, — да не вышло ничего у них, устоял, — разве что молча терпел, бременем тяготился, — крест принимал свой и нёс его честно, как полагается, всю тяжесть его ощущая.

Походка, повадка, — что там ещё? Вглядеться. И вслушаться. Человек, и всё в нём — своё, личное, незаёмное.

Небось, поэт. Ну ещё бы! Это он, он, — а кто это — он? Он и есть. Есть? А может, художник?

Ну конечно, художник! Несомненно, художник! Вот, смотрите, — и руки в краске, и под мышкою тащит что-то вроде свёрнутых в трубку работ, намалёванных на бумаге — той, что под руку подвернулась в час, когда на него нашло вдохновение — и в ход пошло всё, что было вокруг, — и уголь, и сангина, и акварель, и гуашь, — лишь бы только это состояние не упустить, потому что потом сложнее рисовать, а сейчас — вперёд,

не зевай, налегай, малюй, — и в итоге к утру склоняйся над горою работ, один, в непонятно какой, пустынной, комнатухе, нищий король. Или это всё же картоны? Или холст? Ведь похоже — в трубку грубо свёрнутый, свежий холст!

Не понять!.. На углу фонарный покачулся под ветром от свет, по ногам снежком потянуло, руки зябнут. Не разобрать — кто стоит у стены без окон, без дверей, кто идёт, сутулясь, вдоль трамвайных блестящих рельсов, и позёмка — вдогонку, вслед.

Кто он? Был ли он? Или — есть он?

Есть, конечно! Расплывчат образ. Крупным планом — глаза. Крупнее, как в кино. Что, узнал? Да вроде. Присмотрись. Узнаёшь? Ну то-то. Он и есть. Только — кто? Знакомый. Свой. Ты что, не узнал? Ну, здравствуй.

Так и было все эти годы. Живущий, поддержанный, дышащий поэзией, этот некто, случалось, нередко случалось в годы прежних гроз, и молчал — внешне, вот что хотелось бы, сознательно, уточнить. Никогда в нём не замирала и нигде в нём не утихала внутренняя, закрытая от глаз посторонних, работа.

Слову, как там ни тщись, не прикажешь, не заставишь возникнуть, — оно, иногда и подолгу, ждёт своего заповедного часа. И является слово к тебе лишь в такие мгновенья, когда его присутствие в мире жизненно необходимо. И, явившись, оно спасает. И земные дни продолжает.

Внешне — какие-то, всяческие, для заработка, обыденные, никуда ты от них не денешься, утомительные труды. Имеющие, наверное, ценность самостоятельную. Но это — горькая ценность извечного выживания.

Внешне — весьма и весьма скромное существование во мгле многолетней и мороке затянувшегося безвременья, — существование, грустное, что там скрывать, человека независимого, талантливого, мыслящего, обо всём имеющего своё собственное, непохожее на другие, личное мнение, человека ранимого, гордого.

Внешне — может быть, даже и некоторые, почему бы и нет, бывало ведь, успехи на том, другом, дающем прокорм поприще.

Если было оно у кого-то, это житейское поприще.

У некоторых и его не было никогда, — и такой, казалось бы, малости.

СОДЕРЖАНИЕ

Музыка памяти	5
Пир	15
Яблоко	147
Свеча над убитым лицом	169
Знаки	188
Воитель	206
Задно со светом	301
Отец	405